

**Б**

аба Дуня собиралась на могилу к сыну.

Раньше она ездила к нему только раз в год на Пасху. Можно бы, конечно, было и почаще наведываться туда, тем более, что от их деревни до областного города, где он похоронен, каких-нибудь километров шестьдесят, не больше. Но очень уж тяжела была баба Дуня на подъеме и никуда из родной деревни выезжать не любила. За всю свою жизнь она, кроме как в этом городе, нигде не была вообще, и поехать туда для нее означало то же самое, что для другого, живущего, допустим, в Москве, съездить во Владивосток или в Ташкент.

Но последние года четыре — как перевалило ей за восемьдесят — стала она чаще прихварывать: то в боку схватит так, что свет белый не мил, то вдруг ни с того ни с сего сердце затрепыхается, то еще какая-нибудь гадость. И стала баба Дуня задумываться, что, видать, вышли ее года. А раз так, то надо на могилку к сыну и наведываться почаще — теперь не только на Пасху, а и на Рождество можно, потому как следующей Пасхи может она и не дожждаться.

На Пасху баба Дуня ездила к сыну с крашеными яйцами, с куличами. И возле могилы собирались другие матери, такие же, как она, у которых тоже здесь кто-ни-

будь похоронен, потому что могила братская. И они вместе поминали своих сыновей, погибших в 43-м, и вместе плакали, и потом расходились кто куда.

Ну, а на Рождество сюда почти никто не приходил, потому что могила эта была не совсем в городе, а немного за городом, на шоссе, и даже трамвай сюда не доходил километра два. Правда, один раз приковыляла в стужу одна старушка, старая знакомая бабы Дуни — у нее здесь, в этой могиле, сразу двое лежали. Но потом она исчезла и даже на прошлую Пасху ее не было, может, простыла в тот раз и померла.

Готовиться к поездке баба Дуня стала, как всегда, заранее. Попросила дочку связать ей теплые рукавицы, потому что январь в этом году выдался морозный, залатала кое-где свою телогрейку, доставшуюся ей в наследство еще от мужа. Телогрейка эта была ей по длине как пальто, потому что хоть и была баба Дуня, несмотря на свой возраст, высокая и крупная, а все равно старику своему покойному только до плеча доставала.

Ну и, само собой, не забыла баба Дуня про самогон — еще за две недели купила у Васьки-столяра большую бутылку. На праздники вообще с этим делом всегда туго, чуть-чуть зазеваешься, и ничего тебе не достанется. А тут как раз праздники повалили один за другим: Новый год, Рождество, а там и старый Новый год подходит, и Крещение. Васька по этой причине по праздникам ходил гоголем и чувствовал себя самым нужным человеком в деревне. И это действительно так и было. С утра и до вечера таскались к нему в хату мужики, ловили на улице, кланчили:

— Вась, дай бутылочку!

— Вась, меня не забудь!

Конечно, можно было бы купить и водки в сельмаге, но как-то принято было считать, что самогон во всех отношениях лучше — и дешевле, и крепче, и для здоровья полезительнее.

Васька раньше работал столяром в колхозе, но потом совершенно забросил это дело, вполне справедливо решив, что самогонование — дело куда более выгодное: и прибыли не сравнить, и почету больше: столярничать каждый мужик может, а самогонщиков на деревне раз-два и обчелся.

Участковый уполномоченный Иван Романович Зыбин сколько раз грозился добраться до Васьки. Но «добирался» он до него, в основном, как и все, по праздникам, или когда в его семье справлялось какое-нибудь торжество, или даже так просто, под настроение. Неизвестно, о чем они говорили между собой, а только проходил час-другой, и они вместе с Васькой выходили в обнимку на улицу и горланили военные песни. Новых песен они не признавали, из довоенных помнили только «Синий платочек», а вот военные на всю жизнь запали им в душу, потому что оба в свое время сражались за Родину, и при случае каждый мог щегольнуть целой колодой орденов и медалей.

Баба Дуня брала у Васьки или «первачок» или, в крайнем случае, «почти первачок». На этот раз Васька что-то пожадничал и отпустил ей «почти первачок». Правда, и от него перехватывало в горле, как от чистого спирта. Но баба Дуня, не доверяя собственным ощущениям, налила немного самогону в блюдце и подожгла его — самогон, вспыхнув синим пламенем, сгорел почти без остатка.

— Зря только переводишь драгоценную влагу, — неодобрительно ворчал при этом Васька. — Уж кого-кого, а тебя сроду не обману, сама знаешь.

Он так говорил, потому что они с Николаем, тем самым Николаем, сыном бабы Дуни, который погиб, были друзьями детства и даже вместе собирались в цирковые артисты, да война помешала.

В назначенный день баба Дуня завязала в узелок бутылку с самогоном, маленький стопрограммовый стаканчик, положила туда же кусок сала, пару соленых огурцов, хлеба и отправилась к колхозному правлению в надежде, что кто-нибудь поедет в город и подвезет ее.

— Нонче уж не ждите, заночую у кума, — предупредила она домашних.

Кум ее давно уже жил в городе у своей замужней дочери, и баба Дуня, бывая в городе, всегда у него останавливалась. Собственно говоря, она и самогону купила так много в расчете на кума — неудобно же так просто к нему с пустыми руками. А самой-то ей для поминания грамм сто нужно, ну, может сто пятьдесят, не больше.

Мороз стоял градусов на двадцать, да еще дул с полей небольшой ветерок. И хотя баба Дуня была привычная к морозу и к тому же тепло одета, а все-таки ее нет-нет да прохватывало: наверное, года сказывались.

Она жила на краю деревни, а колхозное правление размещалось в центре, рядом с клубом, и идти до него было километра полтора. Баба Дуня крепче прижимала к себе узелок и жалела, что не выпила хоть чуточку самогону на дорогу — все теплее было бы.

В деревне бабу Дуню знали все, и все уважали. И на то были причины. Всю свою жизнь трудилась она в поле, и хоть в знатные да орденоносные не выбилась, но долг свой выполняла честно и от работы никогда не отлынивала. И еще уважали ее за верность их рода земле. Чуть ли не каждая баба в деревне могла похвастать, что ее сын или дочь, или там брат живет в городе, работает врачом, инженером или летчиком. А вот у бабы Дуни и все ее предки, и все потомки жили всегда в деревне и никуда отсюда не уезжали и не собирались уезжать. Вот Нинка, внучка от младшей дочери, собиралась в том году в город — в институт поступать, да так и не собралась. И ничего. Сейчас на птицеферме работает и уже в районную газету попала.

Баба Дуня подоспела к правлению как раз вовремя: у дверей тарактел уже председателский «козел», и шофер с диковинным именем Альберт пошхивал сигареткой в ожидании пассажиров. Баба Дуня подошла к машине, постучала в стекло:

— Не в город случаем?

— В него, — ответил Альберт, открывая дверцу. — Здравствуй, баба Дуня!

— Здорово, Абрам!

Баба Дуня в жизни своей не слыхала имени Альберт, а потому стеснялась его произносить и заменяла самым похожим, по ее мнению, именем Абрам. Сперва Альберт обижался за это на бабу Дуню и поправлял ее, но потом привык, и это даже стало ему как-то нравиться.

— Ну а меня-то вы не прихватите с собой? — спросила баба Дуня.

— А это уж, как председатель, — ответил Альберт, выпуская через ноздри дым.

Баба Дуня хотела еще что-то сказать, но в это время в дверях правления показался сам председатель в сопровождении клубного баяниста Гришки и зоотехника Пал Палыча. Баба Дуня устремилась им навстречу.

— Михалыч, в город подвезешь?

— Садись, — охотно разрешил председатель, — как раз пять душ и наберется.

— Алексей Михалыч, — плаксиво проговорил Гришка, — а теща моя как же? Вы же ей обещали подвезти.

— Она тебе еще не теща, — попробовал отшутиться председатель.

— Ну будет тещей. В мае уже свадьбу решили играть. Я уже с ребятами из оркестра договорился, приедут из города...

— Ну ладно, Гриша, отстань! — сердито отмахнулся председатель. — А то и тебя самого не возьму. Баба Дуня еще моего отца нянчила, а ты со своей тещей лезешь.

Гришка что-то обиженно забормотал насчет того, что он может хоть завтра в любое место отсюда уехать, что его всюду ждут с распростертыми объятиями, но потом смирился и, напоследок плаксиво шмыгнув носом, полез вслед за всеми в машину. Альберт, с которым они были друзьями, виновато развел руками: мол, ничего не могу поделать.

Гришку, конечно, мало беспокоило, поедет его будущая теща в город или не поедет, но этим отказом председатель подрывал его авторитет в тещиных глазах. Он вот уже с год, сразу как приехал сюда, сватался к семнадцатилетней Ольге Семеныхиной, но мать все ему отказывала под предлогом того, что дочь еще слишком молода. А Гриша, чтобы набить себе цену, придумывал про себя всякие небылицы и среди прочего говорил Семеныхиной-матери, что баянист — это редчайшая в мире профессия, и что по этой причине председатель у него, у Гриши, в руках.

— Ну что, все уселись? — спросил Алексей Михалыч. — Поехали, Альберт!

Сам он сел впереди, рядом с шофером, а на заднем сидении расположились Гришка, баба Дуня и Пал Палыч.

— Эх, жизнь! — глубокомысленно вздохнул Гришка и больше за всю дорогу не проронил ни слова.

А Пал Палыч, наклонившись вперед, стал разговаривать с председателем о колхозных делах. Так что баба Дуня оказалась представленной сама себе, что ее вполне устраивало, и она даже с полчасика вздремнула, положив под голову свой узелок. Один только раз за всю дорогу ее покой был нарушен. Пал Палыч с председателем заговорили о птицеферме и о том, что никак туда хорошего заведующего не подберут, и вдруг председатель, резко перегнувшись через сидение, спросил:

— Баба Дуня, а что если вашу Нинку в заведующие поставить?

Баба Дуня никак не ожидала этого вопроса и сперва даже как-то опешила.

— Да за что же ее?! — спросила она испуганно.

— Как это «за что»? — удивился председатель. — Девчонка она грамотная — десять классов кончила, работу свою любит.

— Рано ей еще, — возразила баба Дуня. — Да и непривычные мы к этому, у нас в начальниках сроду еще никто не ходил. Видать, тебя, Михалыч, газетка попутала: там похвалили ее малость, и ты сразу туда же! А может, там брехню написали, они на это горазды.

Председатель словил себя на мысли, что и вправду его «газетка попутала» и что раньше он о Нинке, как о заведующей, и не думал вовсе. И почему-то его очень разозлило это.

— Ну ладно, ладно! — сердито оборвал он бабу Дуню. — Надо будет, у тебя не спросим.

И снова повернувшись лицом к дороге, добавил язвительно:

— Непривычные!..

Баба Дуня вышла из машины не у самой братской могилы, а проехала немного вперед — туда, где начинались первые одноэтажные домишки. Если бы вышла она у могилы, то непременно стали бы ее спрашивать: куда, да чего, да зачем, а ей сейчас ни в какие разговоры пускаться не хотелось. А так сказала она напоследок, что, мол, кума идет проведать — и всё, и все разговоры!

Машина покатила дальше в город, а баба Дуня не спеша побрела в обратную сторону.

На месте могилы года три как поставили большой хороший памятник, а рядом в чаще зажгли вечный огонь. Раньше же здесь стоял только обелиск, его куда-то убрали. Памятник изображал умирающего от ран, но не сдавшегося воина-освободителя. Он лежал уже на земле, облокотившись на локти, с запрокинутой назад головой, но слабеющие пальцы его все еще сжимали автомат. А внизу памятника были высечены имена тех, кто сражался на этой земле и отдал за нее жизнь — всего двести девятнадцать фамилий и восемь номеров без фамилий, потому что знали, что они здесь похоронены, но кто именно, установить не удалось. Раньше, еще на старом обелиске, этих бесфамильных было в два раза больше, но потом юные следопыты установили восьмерых.

Баба Дуня подошла к памятнику, отыскала прежде всего среди погибших фамилию своего сына и почти неслышно заговорила:

— Сынок, здравствуй! Пришла вот тебя проведать. Привет тебе от всех наших: от Гали, от Марфы, от дяди Коли, от Юрки, от Нинки, от Ивана Тимофеевича, от Сени, от тети Шуры, от Гены. Все живы-здоровы, а Нинку даже в начальницы выбирают.

Баба Дуня хотела бы и еще что-нибудь сказать, но больше не подобрала слов и вместо этого осторожно погладила выбитые в граните имя и фамилию сына. Читать она не умела, но напротив фамилии сына был нацарапан еле заметный крестик — такой, какие рисуют на могильных плитах. Это по ее просьбе кум отметил фамилию сына черточкой, чтобы легче было находить его, а баба Дуня сама потом переделала эту черточку в крестик, считая, что так ее Коле будет лучше житься на том свете.

Баба Дуня еще некоторое время постояла против могилы молча, потом попричитала, как причитают все бабы при поминании близких им людей, и только после этого развернула узелок, открыла бутылку с самогонем и налила себе стаканчик. Кругом было безлюдно, и стесняться ей было некого.

Баба Дуня пожевала сала, похрустела соленым огурчиком... И вдруг озарила ее одна правильная мысль: а почему же это, подумала она, ее Николай с крестиком, а другие, здесь обозначенные, без крестика? Разве они не такие же русские, как он? Или не так же, как он, сложили головы за родную землю? И стало бабе Дуне даже как-то совестно от этих мыслей, и решила она тут же на месте испустить свою вину. Она расстегнула телогрейку, вынула булавку, которая вместо пуговиц скрепляла ее кофту, и принялась за дело. Конечно, не так легко было нацарапать на морозе столько крестиков, но бабой Дуней двигала уверенность, что она совершает святое дело, а потому она почти и не замечала мороза. Сперва поставила она крестики против всех фамилий, а потом подумала немного и окрестила тоже и бесфамильных.

Покончив с этим, она поглядела на дело рук своих и облегченно вздохнула, и только после этого почувствовала, как жжет мороз ее открытые

руки. Она кое-как залезла в рукавицы и для согрева отхлебнула прямо из горлышка несколько глотков самогона, потому что пользоваться стаканом она уже не могла: скрюченные пальцы совсем ее не слушались. Затем сгребла она в узелок свой скарб, проронила еще несколько слезинок в память о сыне и собралась уходить, но напоследок решила немного погреться у огня. Она снова стянула рукавицы и подставила руки к огню. Сперва пальцы, особенно под ногтями, невозможно заныли, но потом боль прошла, и от пальцев по всему телу потекло живое тепло. А вместе с теплом вернулись к бабе Дуне и всякие мысли.

Она вспомнила тот дождливый осенний день 43-го года. Вспомнила, как грохотала на этом самом месте артиллерия, как грохот этот доносился до их деревни. А в деревне к тому времени остались одни бабы да старики, и все повыскакивали на улицу и стояли под дождем и слушали далекую канонаду, зная, что у города идет бой. За два года войны ко всему привыкли, отупели от несчастий и боялись уже надеяться на хорошее, а все-таки все стояли бледные, как будто от этого одного боя зависела судьба всей России. А бледнее всех стояла баба Дуня, и были у нее на то свои причины. За два дня до того неожиданно нагрянул в деревню Николай, о котором уже два года ничего не было слышно. Он подкатил на зеленой машине прямо к своему дому, подхватил на руки оторопевшую от счастья мать, стал обнимать сестер.

Оказалось, что их дивизии приказано освободить от немцев город, и что через два дня они выступают. О себе он рассказал, что всю войну прослужил шофером у комбата, а сейчас собирается на танк перейти. Похвастался он также, что у него уже орден и две медали.

А через полчаса он уже умчал назад, пообещав через два дня, сразу после боя, приехать домой на целый день. Но так уж никогда и не приехал: тот бой оказался для него последним.

Вспомнила сейчас баба Дуня все это, и опять потекли по щекам ее слезы.

По шоссе проносились туда-сюда машины, но баба Дуня никакого внимания на них не обращала, потому что ее они совершенно не касались. Но вот неожиданно напротив памятника остановился один автобус, и высыпала из него целая ватага ребятишек пионерского возраста в сопровождении молоденькой девушки, наверно, пионервожатой. Ростом она была очень маленькая, почти что со своих пионеров, но заменяла этот недостаток необыкновенной серьезностью и строгостью в лице. Вот эта компания приблизилась к памятнику и с удивлением воззрилась на бабу Дуню.

— А вы что здесь делаете? — строго спросила девушка.

— Обыкновенно что, руки грею: дюже озябли, — немного смущаясь, сама не зная чему, ответила баба Дуня.

Девушка растерянно посмотрела на своих пионеров, потом вновь обратилась к бабе Дуне:

— Вы знаете, здесь совершенно не место греться. Это даже кощунство — греться у священного вечного огня. Какой пример вы подаете хотя бы вот этим пионерам? Я бы скорее превратилась в сосульку, чем позволила себе такое!

Баба Дуня оторопело смотрела на девушку, не понимая, чего от нее хотят, и все еще продолжая держать руки над пламенем.

— Мамаша, вы меня извините, — снова заговорила девушка чуть ли не со слезами в голосе, — но я бы вас попросила уйти отсюда. В противном случае нам придется уйти.

Только теперь до бабы Дуни дошло, чего от нее добивается эта девушка: она просто хочет, чтобы баба Дуня ушла. И она не стала спорить, а просто подхватила свои рукавицы, узелок и ушла. Конечно, ей стало обидно, и она хотела сказать этой «козявке», что здесь похоронен ее сын, но не решалась: а вдруг та заметит крестики, которые нацарапала на памятнике баба Дуня. Тогда уж и вовсе не оберешься крику. Нет, лучше уж с ней не связываться.

Баба Дуня вышла на обочину шоссе и направилась в сторону города: надо было дойти до трамвайной остановки, а потом еще долго добираться до кума трамваем. Сначала она шла не оглядываясь, но, пройдя метров пятьдесят, обернулась. Пионервожатая стояла перед памятником, держа у лба кисть правой руки. А напротив нее стояли в почетном карауле, тоже с руками у лба, ее пионеры. Девушка что-то говорила, а ребята повторяли за ней — наверное, давали какую-нибудь пионерскую клятву.

Баба Дуня смотрела на них с восхищением, и хотя не совсем понимала, что все это означает, но совершенно правильно решила, что они тоже поминают тех, кто здесь лежит, но только поминают не так, как она, а по-своему, по-пионерски. И она почувствовала вдруг, как обида ее на эту девушку постепенно рассасывается, и вместо обиды заполняет ее, бабу Дуню, какое-то теплое чувство к ней и к ее пионерам, как будто бы они ее родные и пришли вместе с ней помянуть ее сына. И баба Дуня, проследившись от умиления, побрела дальше.